

Анастасия Ат

М.И.Т.Я.



Анастасия Ат М.И.Т.Я.

<https://litres.ru/74634637>

SelfPub; 2026

Аннотация

1603 год. Смутное время. Голод. Смерть. Крестьянин Митя открывает для себя технику осознанных снов — и всё чаще выбирает их вместо реальности. Митя не знает, что эти сны ему не принадлежат. И что за них придётся заплатить.

Содержание

Пролог	4
Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Анастасия Ат М.И.Т.Я.

Пролог

*«И нет—то у нас никакой родины, а
есть только эта земля, по которой
мы бродим с пустым брюхом»*

(Иван Бунин)

Лето 7111 года от сотворения мира. По нашему счёту – 1603 год от Рождества Христова. Земля русская стонет. Царь Борис Годунов на престоле, а народ ропщет. Голод третий год. В прошлом лете, говорят, в Москве сто двадцать тысяч схоронили. Хлеба нет. Коренья пожрали. Кору с лип ободрали. Люди едят кошек, собак, из земли гниль роют.

В селах пусто. Народу поредело. У кого была животина – съели. Мужики по лесам бродят, ищут хоть что–то: комок мёрзлой репы, мертвую птицу, червивый гриб. Все, что ни находили, клали в мешок, считая удачей, приносили домой. Но чаще не находили ничего.

Говорят, в иных местах люди своих мертвых едят. Не от злобы – от голода. Грех это, а делать нечего.

Царь Борис велел раздавать хлеб из казны, а хлеба на всех не хватает. И шепчутся: Бог наказал за грех, за то, что ца-

ревича Димитрия зарезали. А был ли царевич убит – кто ж нынче разберёт. А тут еще слухи пошли: жив–де царевич Димитрий, вскоре явится, тогда и голода не будет. И неведомо, за кого Бога молить: то ли за царя, то ли за того, кто придёт, то ли ни за кого.

И везде, по всему Московскому царству, на улицах, в избах, в головах только одно – смута.

Часть первая

«Я изведаль, я пережил истинное счастье, а наяву или во сне – не все ли равно! »

(В.Я.Брюсов)

1

Митя продрал очи и долго лежал, глядячи в потолок. В избище темно. Лучина догорела ещё в полночь, а новой не воткнул никто. За стеною тихо, а надобно бы – свинья возит-ся, куры кудахчут. Нету свиньи. Нету кур. Третью седмицу, как пожрали последнюю.

Сел он на лавку, ухватясь рукой за край, ибо голова кружится и утробу подвело пустотой. Руки ослабли, топора не удержать. А дрова надобны: зима лютует, поленница пуста.

Мать не вставала третью седмицу. Лежит на печи, очи открыты, а не глядят ни на что. Дети спят в углу – Васька да Марфа. Живы пока. Марфа и во сне постанывает – голодно.

Митя потянулся к правому уху и потер старый шрам. С детства он у Мити, как с полатей упал. А может, и прежде того, не упомнит. Но привычка: как тошно станет, али страшно, рука сама туда тянется, будто верёвочка привязана – держит на этом свете.

– Господи, – шепнул он в тёмный угол. – Дашь ли хлеба? Господь не отмолвил. Али отмолвил – морозом из щелей,

да пустым брюхом, которое уж не болит, а только ноет тихо, безнадёжно.

Митя глянул возле себя. Пусто. Раньше жена спала, Наталья. Теперича померла.

Полгода назад она ещё вставала. Ходила тихо, держась за стену. Лицо белое, губы прозрачные. Детям улыбалась, а он видел – сил нет.

– Ложись, – сказал он тогда.

– Посижу, – молвила. – Наглядеться хочу.

Смотрела на Ваську, на Марфу. Глаза у неё были большие, тёмные. Митя отвернулся – не мог глядеть.

К вечеру слегла. И больше не вставала.

Пять дней лежала Наталья. Спала много. Когда просыпалась, просила пить. Воды не было. Митя снег топил в плошке, подавал ей тёплое. Она пила, смотрела на него и молчала.

На шестой день сказала:

– Митя. Детей не оставляй. Как–нибудь.

– Не оставлю, – сказал он. – Молчи. Выправишься.

Она покачала головой. Легонечко, чуть слышно.

– Не выправлюсь. Знаю.

Он взял её руку. Кожа сухая, горячая. Кости тонкие – птичьи.

– Не поминай лихом, – сказала она. – Хорошо нам было. Пока было.

– Замолчи, – сказал он. И сам заплакал. Впервой при ней заплакал. Она поглядела, хотела руку поднять – к щеке его

прижать – не подняла. Силы уж не стало.

– Митенька, – только и молвила. – Митенька...

Умерла Наталья под утро. Он лежал рядом, на лавке, держал её руку. Почувствовал: обмякла. Пальцы сами собой раскрылись.

Посидел. Встал. Вышел на крыльцо. Снег шёл. Белый, тихий.

Взвыл. Громко, по-звериному. В пустое небо. Никто не услышал – ни соседи, ни Бог, ни она.

Вошёл в избу. Дети спали. Мать на печи зашевелилась, спросила:

– Померла?

Он не ответил.

Завтра копал могилу. Мёрзлую землю заступом брал. Стучал, стучал, едва откалывал. Двое суток копал. Похоронил на сельском погосте, без попа – попы нынче сами с голоду пухнут. Прочитал «Отче наш», перекрестил холмик.

Вернулся в избу. Дети смотрят на него, молчат. Марфа спросила:

– Мама у Бога?

– У Бога, – сказал он.

И больше никогда не говорил о ней. Ни с детьми, ни с самим собой. Только во сне приходила – поначалу часто. Стояла у порога, улыбалась. Звала: «Митя, иди сюда». Он просыпался и долго лежал, глядячи в потолок. Иногда плакал.

А потом и во сне перестала приходить.

...Скрипнуло в сениях. Федька вошёл, не постучавшись.

– Митька, жив ли? – молвил, озирая избу.

– Жив, – отвечал Митя. Федькино лицо серо, борода свалялась, очи красны. Не евши, видать. А кто нынче евши.

– Пойдём в лес, – молвил Федька. – Может, коренья какие сыщем. Люди бают, уж кору с лип обдирают.

– Погоди. Не боязно? Казаки в лесу шлятся. Третьего дни у Лукьянова двора двоих зарезали.

– Казаки, – плюнул Федька на пол. – Казаки везде. А с голоду помирать – не от них разница. Иди, молвлю.

Натянул Митя кожух. Дети заворочались. Марфа очи открыла, поглядела на отца, но не спросила ничего – ведала уж, что просить бесполезно. Васька спал дале.

Вышли за околицу. Мороз щиплет лицо, снег под лаптями скрипит. Село мертво стоит – избы насуплены, ни дыму из труб, ни гласу. У иных дворов ворота выбиты – ещё с прошлого месяца, как казаки приходили за подводой.

– Куды нас Бог завёл, – молвил Федька, глядячи на сломанную телегу у крайней избы. – Жили небогато, а ныне и того нет.

В лесу тихо. Снег глубок лежит, а под ним местами чернеет земля – там, где свиньи рылись, до как их поели. Пошли опушкой, высматривают – не торчат ли из-под снега коренья. Мало кореньев. Мелки, мёрзлы, соку в них – ничуть.

– Слышь, – Федька встал, глядячи в чащу, – в миновалом месяце, бают, в соседнем селе казаки пятерых мужиков в ле-

су повесили.

– За что?

– За то, что живы. Им не угодишь. Хлеб отдай, лошадь отдай, бабу отдай. А не отдашь – повесят. Ведаешь сам.

Пошли дале, всё в глубь. Митя чувствует – тяжело дышать. То ли слабость, то ли страх. Всякий треск – чудится шаг. Всякий шорох – глас.

И узрели дым.

Тонок, сед, подымается из лога, промеж сосен. Федька потянул Митю за рукав – пригнулись. Тихом, не хрустя снегом, подползли ближе.

На полянке – четверо. Двое в коротких жупанах, при саблях, с пистолями за поясом. Двое – мужики тутошние, не признал их Митя, а видать – не наши: оборваны, небриты, очи испуганны. Казаки варят что-то в котелке. Мужики в сторонке сидят, связаны.

– Тикать надобно, – шепчет Федька. – Доколь не заприметили.

Митя глядит на котелок. Оттедова тянет варевом. Мясом. Ударил дух в ноздри, и под ложечкой засосало – ажно замутило.

– Слышь, Митька, – Федька дёрг за рукав. – Пошли.

– Яство там, – Митя, не сводя очей. – Вот бы Ваське да Марфе...

– И сабли. Пошли, дурак.

Отползли назад и долго шли молча, береглись шуметь.

Только как лес поредел и показались крыши села, Федька перекрестился, выдохнул.

– Видел? – молвил, не глядя на Митю. – Наших повязали. Казаки нынче не брезгают. Вокруг грабёж, везде грабёж. Ни царя, ни закона.

Митя не ответил. Всё ещё чует тот дух – варево, мясо, дым. И думает: как легко б было подойти к котлу, кабы не сабли. Али кабы не боязно. Али кабы силой иной – не мужик с пустыми руками.

Воротились к вечеру. Федька побрёл к себе. Митя сел у порога, глядит на руки свои – чёрны от грязи, ногти обломаны, трещины. Потом потрогал шрам за ухом и подумал: «А приснилась бы та похлёбка. Хоть во сне. Хоть враки».

Вошёл в избу. Дети спят. Мать не дышит? Дышит – чуть слышно, как мышь под полом.

Лёг на лавку, укрылся рваной свиткой, зажмурился. А в голове всё тот дух – мясо, дым, воля, коей нету.

– Господи, – шепчет в темноту. – Дашь ли хоть во сне поесть?

И провалился.

2

И приснилось Мите, что стоит он на каменной улице.

Никогда такой не видывал. В селе грязь да навоз, а тут – гладко, черно, и блестит. И не проваливается под ногой. Митя потоптался – твердо. Диво.

По сторонам – дома, а не избы. Высокие, во сколь обхва-

тов – не счесть. Ввысь ушли, под самое небо. Из них глядят окна, и во всяком окне – свет. А на улице уж темно, а светло. Как днём.

– Господи, – шепчет Митя и крестится. – Где я?

Идти боязно, а стоять того хуже. Сделал шаг. Другой. Лапти по каменной глади – шарк, шарк. И тут вдаль заревело. Митя отпрянул к стене, прижался спиной.

Мчится на него железная зверюга. Глаза жёлтые, воеет не по–звериному. Митя крест на себя положил, ждёт смерти. А зверюга пронеслась мимо, ветром обдала, и только – и нет её.

– Чур меня, – шепчет Митя. – Чур, чур.

А сердце колотится, выскочить норовит.

Пошёл далё. Теперь уж с оглядкой, на окна гляючи, а в них стекла. За стеклом за тем люди сидят, яства едят. Митя встал, носом к стеклу прижался. Там хлеб. Белый, пышный. Мясо. И зелень какая–то. И питьё в стеклянных сосудах.

В животе заурчало так, что свело всего.

– Свят, свят, – шепчет он, не отрываясь от стекла.

Из–за стола встал человек. На нём – не кафтан, не свитка. Чудно как–то. Лицо сытое, белое. Митя подумал: боярин, чай. Или воевода.

Человек поглядел сквозь стекло на Митю – и не видит. Как сквозь воду глядит. Будто нету Мити. И пошёл прочь, и сел обратно.

Митя отошёл от окна. Глянул на руки свои – чёрны, грязны, трещины. На людях тех одежда чистая, руки белые. По-

нял он тогда: не глядят на него, ибо нет его тут. Всё это не для него. А для кого?

– Господи, – шепчет, – а где я? В раю? Али в аду?

И вдруг – крик. Не крик даже, а визг над ухом. Митя обернулся – ничего. А визг не смолкает. Из кармана у себя – у себя! – вытащил малую доску. Не деревянную, а какую-то... и светится. И на ней – рожицы, бегают, что-то молвят.

Выронил доску. Упала – не разбилась. Визжит, терзается на земле. Митя пнул её ногой – отлетела.

– Наваждение, – шепчет. – Бесовщина.

Побежал. Лапти шаркают, сердце в горле. А мимо – те же дома, те же огни. Ни конца ни краю. И железные зверюги свистят мимо, одна за одной. И окна все горят. И ни одного лица, которое на него глядит.

Нет его здесь. Нет.

Испугался Митя тогда так, как не пугивался, когда казаки село жгли. Там хоть враг. Врага можно бояться, можно ненавидеть. А тут – непонятно кого, непонятно чего. По старой привычке Митя поднес перст за ухо, шрам нащупал. Нету шрама. Пощупал ещё. Гладко, как у младенца, будто и не бывало никогда шрама. Диво! И понял вдруг Митя: во сне он.

– Проснуться бы, – молит. – Господи, пробуди меня.

И проснулся.

В избе темно. Дети дышат в углу. Мать – на печи. Мороз из щелей тянет. Живот болит. И холодно, ажно зуб на зуб не попадает.

Митя лежит, глядит в потолок, а перед глазами – те дома, те огни, те сытые лица, которые его не видят. И плакать хочется, а сил нет.

– Зачем, – шепчет в темноту. – Зачем показал, коли нет там меня?

Никто не ответил.

Потом помолчал, помусолил палец и поднял у уха. Шрам на месте. Значит, не сон уж. Значит, то было сном, а это – явь.

Перевернулся на другой бок, закрыл очи. И подумал: а что, если б не проснулся? Что, если б остался там, где хлеб белый и тепло? Страшно, а сладко.

Уснул. К утру. Без снов.

3

Продрал Митя очи от холода. Лучина догорела, в избе черно, а мороз так и лезет изо всех щелей. Дети спят, прижавшись друг к дружке. Мать на печи заворочалась, застонала – жива ещё.

Сел Митя, натянул кожух. Руки трясутся – не то от стужи, не то от слабости. В животе пустота, ажно тошнит.

Вышел на крыльцо. Утро серое, снег под лаптями скрипит. На соседнем дворе – ни дыму, ни голосу. У Федьки в избе темно. Митя подумал: «А не помер ли?» А стучать не стал. Страшно зайти – увидеть мёртвого.

Пошёл к колодцу. Лёд в бадье, воды нет. Придётся снег топить, как вчера.

На обратном пути увидал бабу Марью – соседку с краю. Стоит у своей избы, в одной рубахе, босая, и глядит в небо. Лицо белое, очи не мигают.

– Тётка Марья, – кликнул Митя. – Ты чего на морозе?

Она не отговорила. Митя подступил ближе – она не дышит. Стоит, как подмерзла. Очи открыты, а не видят.

Перекрестился Митя. Смерть нынче не диво. Диво, что иные стоят даже после того, как дух вон.

Он взял её за плечо, потянул – повалилась в снег, как бревно. Не шевельнулась.

– Царство Небесное, – молвил Митя и пошёл прочь. Хоронить некому. Сам еле жив. Пусть казаки закопают, коли придут. А нет – так снегом присыплет.

В избе дети пробудились. Марфа сидит на лавке, глядит на печь, где бабка лежит. Васька ползает по полу, скребёт доски – нашёл корочку, что вчера уронили, суёт в рот.

– Не ешь, – сказал Митя. – Пустое.

Васька заревел. Марфа молчит. Она уж давно не плачет. На всех не наплачешься.

Митя развёл огонь в печи – последние поленья. Снег в горшке растопил, подал детям тёплую воду. Сам не пил – мало. Пусть хоть дети.

Мать на печи закашляла. Кашель глухой, надрывной. Митя поглядел на неё – и отвернулся. Лекаря нет. Хлеба нет. Только ждать, когда перестанет дышать. Грешно так мыслить, а делать нечего.

К полудню собрался Митя в лес. Федька на пороге появился – жив, слава Богу.

– Пойдём? – молвил. – Бают, за оврагом лежалую скотину видели. Может, мясо осталось.

– Падаль? – спросил Митя.

– А ты сыт?

Пошли.

Лес глухой, снег по колено. Идут молча, только дыханье слышно да ветки хрустят.

За оврагом и впрямь лежала лошадь. Старая, худая, а мясо – как мясо. Кто-то уж резал – бока ободраны, ноги отрублены. Кости торчат, а остатки замёрзли.

Федька перекрестился, достал нож.

– Пособи, – сказал.

Митя отвернулся – не мог глядеть. А руки сами взялись за нож. Резали молча. Кровь замёрзла, не текла. Мясо твёрдое, как камень.

Сложили в мешки, пошли назад. И тут – крик.

Из-за деревьев выскочили двое. Один в драном кафтане, с топором. Другой помоложе, с ножом. Очи дикие, рты открыты.

– Отдавай, – молвил старший. – Мясо отдавай.

Федька попятился. Митя встал на месте. Рука сама потянулась к шраму – там, за ухом.

– Сами нашли, – молвил он тихо. – Сами резали. Не отдадим.

Мужик с топором шагнул вперёд. Федька кинул свой мешок на снег и побег. Митя остался.

Топор взлетел. Митя не успел ни увернуться, ни перекреститься. Топор опустился – и прошёл мимо, только кожух порвал. Митя толкнул мужика плечом, тот упал. Молодой с ножом кинулся на Митю, а нож скользнул по руке – Митя даже боли не почувствовал. Толкнул и того.

Схватил свой мешок и побег за Федькой.

Долго бежали. Дыханье перехватывает, в боку колет. Митя слышит за спиной крики, потом тише, потом замолкли.

Выбегли к селу. Федька упал в снег, дышит, как загнанный пёс.

– Ушли? – спросил.

Митя оглянулся. Никого.

– Кажись, ушли.

Опустился на колени, потрогал руку – рубаха порвана, а порезу нет. Не понял. Потом понял: нож только кожух задел, не тело.

– Пронесло, – выдохнул.

Воротились к вечеру. Дети живы. Мать жива – кашляет.

Митя развёл огонь, положил в горшок мясо. Впервые за долгое время в избе запахло едой. Марфа сидела у печи, глядела на огонь. Васька спал.

Мать прошептала:

– Дай.

Митя подал ей кусок. Она жевала долго, мелко–мелко, по-

том уснула. Дети поели. Митя сам съел кусок малый – только чтобы голова не кружилась.

Лёг на лавку, а заснуть не может.

Перед очами – тот сон. Улица каменная, огни, лица сытые. Хлеб белый, пышный. И шрама нет за ухом.

«А что, коли я сейчас сплю?» – подумал.

Потрогал шрам. На месте.

– Не сплю, – шепнул.

И подумал: «А во сне шрама нет. Во сне я иной. Во сне меня не видят, а хлеб – видят. Хлеб там есть.»

Перевернулся на другой бок.

– Господи, – шепчет в темноту. – А можно мне туда опять? Не боюсь я. Теперь знаю, как пытаться. Шрам потрогаю – нету – знать, сон. И тогда тот хлеб возьму. И съем.

И закрыл очи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.